

Юрий Герман

Дорогой мой человек (фрагмент)

Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни, добродетели, которая никогда не делает вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и которая постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли.

Джон Мильтон

Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело.

Иоганн Вольфганг Гете

Глава первая

Поезд идет на запад

Международный экспресс тронулся медленно, как и полагается поездам этой наивысшей категории, и оба иностранных дипломата сразу же, каждый в свою сторону, раздернули шелковые бризбизы на зеркальном окне вагон-ресторана. Устименко прищурился и всмотрелся еще внимательнее в этих спортивных маленьких, жилистых, надменных людей — в черных вечерних костюмах, в очках, с сигарками, с перстнями на пальцах. Они его не замечали, с жадностью глядели на безмолвный, необозримый простор и покой там, в степях, над которыми в черном осеннем небе плыла полная луна. Что они надеялись увидеть, переехав границу? Пожары? Войну? Немецкие танки?

На кухне за Володиной спиной повара тяпками отбивали мясо, вкусно пахло жареным луком, буфетчица на подносе понесла запотевшие бутылки русского «Жигулевского» пива. Был час ужина, за соседним столиком брюхатый американский журналист толстыми пальцами чистил апельсин, его военные «прогнозы» почтительно слушали очкастые, с залезанными волосами, похожие, словно близнецы, дипломаты.

— Сволочь! — сказал Володя.

— Что он говорит? — спросил Тод-Жин.

— Сволочь! — повторил Устименко. — Фашист!

Дипломаты закивали головами, заулыбались. Знаменитый американский обозреватель-журналист пошутил. «Эта шутка уже летит по радиотелефону в мою газету», — пояснил он своим собеседникам и бросил в рот — щелчком дольку апельсина. Рот у него был огромный, как у лягушки, — от уха до уха. И им всем троим было очень весело, но еще веселее им стало за коньяком.

— Надо иметь спокойствие! — сказал Тод-Жин, с состраданием глядя на Устименку. — Надо забирать себя в руки, так, да.

Наконец подошел официант, порекомендовал Володе и Тод-Жину «осетринку по-монастырски» или «бараньи отбивные». Устименко перелистывал меню, официант, сияя пробором, ждал — строгий Тод-Жин с его неподвижным лицом представлялся официанту важным и богатым восточным иностранцем.

— Бутылку пива и беф-строганов, — сказал Володя.

— Для меня каша и чай, — добавил Тод-Жин. — Так, да.

— Идите к черту, Тод-Жин, — рассердился Устименко. — У меня же уйма денег.

Тод-Жин повторил сухо:

— Каша и чай.

Официант вздернул брови, сделал скорбное лицо и ушел. Американский обозреватель налил коньяку в нарзан, пополоскал этой смесью рот и набил трубку черным табаком. К ним к троим подошел еще джентльмен — словно вылез не из соседнего вагона, а из собрания сочинений Чарлза Диккенса лопухий, подслеповатый, с утиным носом и ротиком куриной гузкой. Вот ему-то — этому клетчато-полосатому — и сказал журналист ту фразу, от которой Володя даже похолодел.

— Не надо! — попросил Тод-Жин и стиснул своей холодной рукой Володино запястье. — Это не помогает, так, да...

Но Володя не слышал Тод-Жина, вернее, слышал, но ему было не до благоразумия. И, поднявшись за своим столиком — высокий, гибкий, в старом черном свитере, — он гаркнул на весь вагон, сверля журналиста бешеными глазами, гаркнул на своем ужасающем, ледящем душу, самодеятельно изученном английском языке:

— Эй вы, обозреватель! Да, вы, именно вы, я вам говорю...

На плоском жирном лице журналиста мелькнуло недоумение, дипломаты мгновенно сделались корректно-надменными, диккенсовский джентльмен немного попятился.

— Вы пользуетесь гостеприимством моей страны! — крикнул Володя. Страны, которой я имею высокую честь быть гражданином. И я не разрешаю вам так отвратительно, и так цинично, и так подло острить по поводу той великой битвы, которую ведет наш народ! Иначе я выброшу вас из этого вагона к чертовой матери...

Приблизительно так Володя представлял себе то, что он произнес. На самом деле он сказал фразу куда более бессмысленную, но тем не менее обозреватель понял Володю отлично, это было видно по тому, как на мгновение отвисла его челюсть и обнажились мелкие, рыбы зубки в лягушачьем рту. Но тотчас же он нашелся — не такой он был малый, чтобы не отыскать выход из любого положения.

— Bravo! — воскликнул он и даже изобразил нечто вроде аплодисментов. Bravo, мой друг энтузиаст! Я рад, что пробудил ваши чувства своей маленькой провокацией. Мы не проехали еще и ста километров от границы, а я уже получил благодарный материал... «Вашего старого Пита едва не выкинули на полном ходу из экспресса только за маленькую шутку насчет боеспособности русского народа» — так будет начинаться моя телеграмма; вас это устраивает, мой вспыльчивый друг?

Что он, бедолага, мог ответить?

Изобразить сухую мину и приняться за беф-строганов?

Так Володя и сделал. Но обозреватель не отставал от него: пересев за его столик, он пожелал узнать, кто такой Устименко, чем он занимается, куда едет, зачем возвращается в Россию. И, записывая, говорил:

— О, отлично. Врач-миссионер, возвращается сражаться под знаменем...

— Послушайте! — воскликнул Устименко. — Миссионеры — это попы, а я...

— Старого Пита не проведешь, — пыхтя трубкой, сказал журналист. Старый Пит знает своего читателя. А покажите-ка ваши мускулы, вы в самом деле могли бы меня выкинуть из вагона?

Пришлось показать. Потом старый Пит показал свои и пожелал выпить с Володей и его «другом — восточным Байроном» коньяку. Тод-Жин доел кашу, вылил в себя жидкий чай и ушел, а Володя, чувствуя насмешливые взгляды дипломатов и диккенсовского полосатого, еще долго мучился со старым Питом, всячески проклиная себя за дурацкую сцену.

— Что там было? — строго спросил Тод-Жин, когда Володя вернулся в их купе. А выслушав, закурил папиросу и сказал грустно:

— Они всегда хитрее нас, так, да, доктор. Я был еще маленький — вот такой...

Он показал ладонью, каким был:

— Вот такой, и они, как этот старый Пит, такие, да, давали мне конфетки. Нет, они нас не били, они давали нам конфетки. А моя мама, она меня била, так, да, потому что она не могла жить от своей усталости и болезни. И я думал — я уйду к этому старому Питу, и он всегда будет давать мне конфетки. И Пит взрослым тоже давал конфетки — спирт. И мы несли ему шкуры зверей и золото, так, да, а потом наступал смерть... Старый Пит очень, очень хитрый...

Володя вздохнул:

— Здорово глупо получилось. А теперь он еще напишет, что я не то поп, не то монах...

Вспрыгнув на верхнюю полку, он разделся до трусов, лег в хрустящие, прохладные, крахмальные простыни и включил радио. Скоро должны были передавать сводку Совинформбюро. Заложив руки за голову, неподвижно лежал Володя — ждал. Тод-Жин стоя смотрел в окно — на бесконечную под сиянием луны степь. Наконец Москва заговорила: в этот день, по словам диктора, пал Киев. Володя отвернулся к стене, натянул поверх простыни одеяло. Ему представилась почему-то рожа того, кто называл себя старым Питом, и от отвращения он даже зажмурился.

— Ничего, — сказал Тод-Жин глухо, — СССР победит. Еще будет очень плохо, но потом настанет прекрасно. После ночи наступает утро. Я слышал радио — Адольф Гитлер будет окружать Москву, чтобы ни один русский не ушел из города. А потом он затопит Москву водой, у него все решено, так, да, он хочет, чтобы, где раньше была Москва, сделается море и навсегда не будет

столицы страны коммунизма. Я слышал, и я подумал: я учился в Москве, я должен быть там, где они хотят увидеть море. Из ружья я попадаю в глаз коршуна, это нужно на войне. Я попадаю в глаз соболя тоже. В ЦК я так сказал, как тебе, товарищ доктор, сейчас. Я сказал, они — это день, если их нет, наступит вечная ночь. Для нашего народа совсем — так, да. И я еду опять в Москву, второй раз я еду. Мне совсем ничего не страшно, никакой мороз, и все я могу на войне...

Помолчав, он спросил:

— Мне нельзя отказать, так, да?

— Вам не откажут, Год-Жин, — тихо ответил Володя.

Потом Устименко закрыл глаза.

И вдруг увидел, что караван тронулся. И дед Абатай побежал рядом с Володиным конем. Восточный экспресс гремел на стыках, порою протяжно и мощно завывал паровоз, а вокруг Володи кони подымали пыль, и все больше и больше толпилось народу вокруг. Сбоку, на маленьком гривастом коньке, похлопывая его холку своей широкой ладошкой, ехала почему-то Варя, пыльный ветер Кхары трепал ее спутанные, мягкие волосы, и плакала, тянулась тонкими руками к Володе девушка Туш. А знакомые и полужнакомые люди шли возле Устименки и протягивали ему кислый сыр, который он любил.

— Возьми курут, — кричали ему. — Возьми, ты будешь кушать курут на войне, и твоя супруга будет разделять наш курут с тобой...

— Буду разделять! — кивала Варя. — Буду разделять курут.

— Возьми арчи! — кричали ему, протягивая сушеный творог. — Арчи не испортится. И супруга твоя разделит арчи с тобой...

— Бери, не кривляйся, — уговаривала Володю Варя. — Знаешь, какая хорошая штука арчи?

— Возьми быштак, — кричали ему, протягивая шарики оленьего сыра. Возьми, доктор Володя! Разве ты не узнаешь меня, доктор? Ты сохранил мне возраст еще тогда, когда мы боялись твоей больницы...

— Узнай же его, Володька, — говорила Варя. — Неловко, правда же! Вова же! Эта твоя рассеянность сведет меня с ума.

Их кони шли рядом, Варварины глаза были распахнуты ему настежь. Пыль делалась все плотнее, все гуще, и в этой пыли Варя слушала, как спас он Кхару от черной смерти, какой он храбрый,

добрый, хоть бывает и сердитым, как одиноко ему было и страшно, как не доставало ему всегда только ее любви, только ее присутствия, только ее широких, теплых, верных ладошек, ее глаз, ее самой, всего того, с чем он расстался, не понимая еще ужасного, непоправимого значения этой потери. Но теперь она была здесь, с ним рядом, и они вместе на выезде из Кхары увидели отца Ламзы, который стоял над дорогой со своими охотниками. Их было много, с полсотни, и все они держали стволы ружей на холках коней. Володю и Варю они встретили залпом вверх — один раз и другой, а потом их великолепные маленькие, мускулистые, гривастые кони пошли вперед — наметом, чтобы дальние кочевья готовились к проводам советского доктора Володи.

— Ух, какой ты у меня, оказывается, — говорила Варвара протяжно, — ух ты какой, Вовик!

А в кочевьях, которые они проезжали с Варварой, Володя всматривался в лица, тщательно и большею частью тщетно вспоминая — кто был у него на амбулаторном приеме, кого он смотрел в юрте, кого оперировал, кого лечил в больнице. Но ни о ком ничего рассказать Варе не мог — теперь они все улыбались, а тогда, когда он имел с ними дело, они испытывали страдания. Теперь они вновь загорели и окрепли, а когда их привозили к нему, они были бледными и худыми. Теперь они сдерживали своих коней, а тогда они лежали, или их водили под руки, или вносили на носилках...

— И ты не помнишь теперь, кому ты сохранил возраст? — вглядываясь в его глаза, спрашивала Варя. — Я бы ни за что никого не забыла...

Их кони все еще шли рядом.

А потом Володя потерял ее. Потерял сразу, совсем, навсегда. Не было ни рук, ни распахнутых глаз, ни волос, которые трепал ветер. Не было ничего, кроме невозможного, нестерпимого горя.

— Успокойся, — сказал ему Тод-Жин, кладя руку на его голое плечо. — Не надо кричать, товарищ, тише! После ночи бывает утро, так, да!

Синий ночник мерцал над Володиной головой, и в его свете лицо Тод-Жина, изрезанное ранними морщинами, казалось лицом старика. Мудрого и строгого.

— Так, да! — совсем тихо повторил Тод-Жин.

— А я что? Кричал? — осторожно спросил Володя.

— Да, — укладываясь внизу, ответил Тод-Жин.

— Что же я кричал?

— Ты кричал русское имя. Ты звал русское имя.

— Какое? — свесившись со своей полки и стыдясь того, что спрашивает, сказал Володя. — Какое имя, Тод-Жин?

Непонятно, зачем он добивался ответа. Может быть, просто хотел услышать это имя?

— Варюха! — произнес Тод-Жин. — И еще ты кричал: «Варька», товарищ доктор. Ты ее звал, так, да...

«Так, да! — скрипнув зубами, подумал Володя. — Тебе-то что, а я? Как я теперь стану жить?»

Мелкие неприятности, встречи и воспоминания

Полуторку сильно трянуло на ухабе, водитель скосил на Устименку злые глаза и посоветовал:

— Сиди плотнее, пассажир. Дорога нынче военная, раньше времени можешь получить неприятности.

Какие неприятности? Он все время говорил загадками — этот плотно сбитый, плечистый парень в потертой кожанке.

Борисово осталось позади. Навстречу медленной и невеселой вереницей тянулись грузовые машины — в них везли станки, усталых, суровых людей в ватниках и плащах, в перепоясанных ремнями штатских пальто, дремлющих ребятишек, испуганных старух и стариков. А Глиници уже пылали от самого моста вверх до знаменитого по всему краю совхоза «Красногвардеец». И никто не тушил пламя, даже народу не было видно в этом большом, всегда шумном селе. Только за переездом бабы и девки рыли окопы, да бойцы в пропотевших гимнастерках сваливали с грузовиков какие-то серые пирамидки и, подрываживая их ломом, сдвигали к обочинам дороги.

— Это что же такое? — спросил Устименко.

— А он не знает! — не скрывая злобы, огрызнулся шофер. — Он впервой видит. Не придуривайся, пассажир, убедительно попрошу. Надолбы он не знает, ежи — не знает. Может, ты и окопы не знаешь? А что война — ты знаешь? Или не слышал? Так

называемая коричневая чума на нас высыпалась. Но только мы этих всех бандитов передадим, так там и передайте!

— Где там? — недоуменно спросил Володя.

— А в вашей загранице, откуда прибыли.

Устименко растерянно усмехнулся: черт его дернул рассказать этому бдительному чудаку о том, как он извелся за последние двое суток со своим заграничным паспортом. И свитер оказался у него подозрительным, и покррой плаща не тот, и подстрижен он не по-нашему, и сигареты у него заграничные.

— Конечно, ввиду пакта о ненападении мы не отмобилизовались с ходу, назидательно сказал шофер, — но будьте покойнички — здесь фашисту-фрицу все едино конец придет. Дальше Унчи не проскочите!

— Я вам в морду дам! — внезапно, ужасно оскорбившись, крикнул Устименко. — Ты у меня узнаешь...

Левой рукой шофер показал Володе тяжелый гаечный ключ — оказывается, он давно уже вооружился, этот парень.

— Готовность один, — сказал он, без нужды вертя баранку. — Сиди, пассажир, аккуратно, пока черепушку не проломал...

— Глупо! — пожал плечами Володя.

Действительно, получилось глупо. Вроде истории со «старым Питом» — там, в экспрессе.

— Где надо разберутся — глупо или не глупо, — подумав, произнес шофер. — Так что сиди, пассажир, и не вякай, не играй на нервах...

Над городом, низко и плотно, висел дым. Так плотно, что не было даже видно заводских труб — ни «Красного пролетария», ни кирпичного, ни цементного, ни «Марксиста». И купола собора тоже закрывал дым.

На въезде, где был КПП, шофер предъявил свой пропуск, а про Володю выразился уже совершенно категорически:

— Шпион-диверсант. Освободите меня от него, дружки, у него небось любое оружие, а у меня гаечный ключ. И показания с меня снимите быстренько, мне в военкомат в четырнадцать ноль-ноль.

Молоденький, крайне озабоченный свалившимся на него чрезвычайным происшествием военный с двумя кубиками долго читал Володин заграничный паспорт, просматривал штампы — въездные и всякие прочие визы, — ничего не понял и осведомился:

— С какой же целью вы сюда направляетесь?

— А с такой, что я здесь родился, кончил школу, медицинский институт и был приписан к Унчанскому районному военкомату. Я — врач, понятно вам? И военнообязанный...

Из-за фанерной перегородки доносился возбужденный голос шофера:

— С десантом сброшенный, картина ясная. Вы только обратите пристальное внимание на его подстрижку. Шея нисколько не подбритая. Опять же запах если принюхаться. Какой это одеколон?

— Послушайте, — уже улыбаясь, сказал Устименко. — Ну, если допустить, что я диверсант, то зачем же мне заграничный паспорт? Неужели фашисты такие дураки...

— А вы здесь за фашистов агитацию не разводите, что они — умные! рассердился военный. — Тоже нашелся...

Он все листал и листал Володин паспорт. Потом спросил быстро, сверля при этом Володю мальчишескими глазами:

— Фамилия?

— Устименко! — так же быстро ответил Володя.

— Где проживали? Какие улицы знаете в городе? Какие знакомства имели? Какой институт кончили?

Милый мальчик, каким изумительным и вездесущим следователем он себе казался в эти минуты, и как похож он вдруг сделался на доктора Васю — этот курносый юноша с кубиками, с вспотевшими от волнения красными щеками, возбужденный поимкой настоящего, матерого, хитрого и коварного шпиона...

— И еще имеет нахальство спрашивать, почему Глиници горят, — доносилось из-за стенки. — Он, куколка, не знает...

Неизвестно, сколько бы это могло еще продолжаться, не войди в комнату, где опрашивали Володю, школьный его учитель, сердитый физик Адам Егорович. Только теперь это был не пожилой человек в пиджачке, а настоящий, форменный, кадровый военный в хорошо пригнанной гимнастерке, с портупеей через плечо, с пистолетом в кобуре на боку.

— Здравствуйте, Устименко! — как будто и не промчались все эти длинные годы, совершенно тем же школьным суховатым и спокойным голосом сказал он. — Это вы — матерый шпион?

— Я, — поднявшись по школьной привычке и чувствуя себя опять школьником, ответил Володя. — У меня, видите ли, заграничный паспорт...

Совершенно тем же жестом, которым когда-то брал письменную по физике, Адам взял паспорт, полистал его и протянул Володе.

— Черт знает как время скачет. А я, между прочим, не думал, что из вас получится доктор.

— Я не доктор, я — врач, — почему-то радуясь, что у Адама такой бравый вид, ответил Володя. — А я не думал, что вы — военный...

Адам улыбнулся и вздохнул:

— Ничего мы никогда толком друг о друге не знаем, — сказал он тем самым голосом, которым объяснял большие и малые калории. — Бегаешь-бегаешь, а потом вдруг мальчишка из-за границы возвращается — бывалым человеком...

Обняв Володю за плечи, он вышел с ним из низкого барака, в котором Устименку только что принимали за матерого шпиона, велел вызвать бдительного шофера и, покуда тот с недовольным видом прятал под сиденье свой гаечный ключ и заводил машину ручкой, с несвойственной мягкостью в голосе сказал:

— Теперь прощайте, Устименко. Война будет не короткая — вряд ли мы увидимся. Мне жаль, что вы плохо занимались по физике, я недурной учитель, и те начатки, которые мы даем в школе, впоследствии очень бы вамгодились. Вообще, зря вы так свысока относились к школе.

— Я знаю! — с твердой радостью в голосе ответил Володя. — Я теперь все отлично понял, только поздновато. И с языками. Вы не можете себе представить, как я мучился там с английским. Ночами, без преподавателя...

— Ну, хорошо, хорошо, — перебил Адам, — прекрасно. Все мы в юности гении, а потом просто работники. И не так уж это плохо. Прощайте!

Володя опять сел рядом с шофером и захлопнул металлическую дверцу кабины. Красноармеец в пилотке поднял шлагбаум. Шофер спросил миролюбиво:

— Курить есть?

— Шпионские, — ответил Володя.

— А ты не лезь в бутылку, браток, — примирительно попросил шофер. — Ты войди в мое положение. Подстрижка у тебя...

— Ну, завел...

— Ты перестригись, — посоветовал шофер, — у нас мальчишки за этим делом здорово следят. И плащик свой закинь — хотя и фасонный, а не жалей...

Устименко не слушал: навстречу шли танки. Их было немного, они тащились медленно, и по их виду Володя понял, из какого ада они вырвались. Один все время закидывало вправо, он был покрыт странной коркой — словно обожжен. На другом была разодрана броня, третий не мог двигаться, его тащил тягач.

— Хлебнули дружки горя, — сказал шофер. — Вот и моя такая специальность.

— Танкист?

— Ага. Сейчас полutorочку свою сдам, ложку-кружку — и «прощайте, девочки-подружки!».

— Вы меня к памятнику Радищева подкиньте, — попросил Володя. — По дороге?

— Порядок!

Когда шофер тормознул, Володю вдруг пробрала дрожь: жива ли в этих бомбежках тетка Аглая, существует ли дом, который казался ему когда-то таким большим?

Дом существовал, и рябина росла под окошком, под тем самым, возле которого он в тот ветреный день поцеловал Варвару. Неужели это правда было?

— Ты должен объясниться мне в любви! — строго велела ему Варвара. — И ты не плох, ты даже хорош — в свободное время.

И вот нет Варвары.

Заперты двери, обвалилась штукатурка лестничной клетки, треснула стена, наверное от бомбежки, качается на ветру за оконной рамой без стекол рябина. Здравствуй, рябина! Было что-нибудь, или не было ничего, кроме воя сирен и пальбы зениток?

Он постучал в соседнюю — седьмую — квартиру. Здесь про тетку Аглаю ничего не знали. Кто-то ее видел как-то, а когда — никто толком не мог сказать. И даже в переднюю Володю не пустили: они вообще тут недавно, ни с кем не знакомы...

Со щемящей тоской в сердце он еще раз обошел дом, потрогал ладонью гладкий и живой ствол рябины, вздохнул и пошел прочь.

На Базарной площади застала его жестокая бомбежка, «юнкерсы» пикировали с воем, вероятно по ошибке приняв старый приречный рынок за какой-то военный объект. Или собор был у них ориентиром? Потный, в пыли и в известке, Володя наконец добрался до военкомата на Приреченской, но тут почему-то все было заперто. Бомбардировщики ушли, над городом опять навис дым, летела сажа. Зенитки тоже затихли. Ремни рюкзака резали плечи, Володя немного посидел на каких-то ступеньках, потом сообразил, что именно здесь, в этом дворе, во флигеле жил когда-то Пров Яковлевич Полунин. И нестерпимо вдруг захотелось ему увидеть этот флигель, войти в полунинский кабинет, может быть посмотреть на старый желтый эриксоновский телефон, по которому он в ту ночь вызвал Варин номер: шесть тридцать семь...

Волоча рюкзак, тяжело ступая, он остановился возле флигеля и спросил вежливо под открытым окном:

— Скажите, пожалуйста, семья Прова Яковлевича здесь проживает?

В окне тотчас же появилась женщина — еще не старая, крупная, прищурившись оглядела Володю и осведомилась:

— А вам, собственно, что нужно?

— Да ничего особенного, — несколько смешавшись от звука этого знакомого, насмешливого и властного голоса, произнес Володя. — Я, видите ли, был учеником Прова Яковлевича — вернее, я теперь его выученик, и мне захотелось...

— Так войдите! — велела женщина.

Он вошел несмело, обтер ноги о половичок и сказал, сам удивляясь своей памяти:

— Я никогда вас не видел, но хорошо помню, как вы когда-то из другой комнаты объясняли, где чай и мармелад, и как вы пожаловались Прову Яковлевичу, что двадцать два года женаты, а он вам спать не дает...

Вдова Полунина на мгновение закрыла глаза, лицо ее словно застыло, но вдруг, тряхнув головой и словно бы отогнав от себя то, о чем напомнил ей Володя, она живо и приветливо улыбнулась и, пожав руку, втянула его через порог в ту самую комнату, где по-прежнему на стеллажах видны были корешки огромной полунинской библиотеки и где возле полунинского письменного стола тогда Володя слушал о знаменитой картотеке. Ничего здесь не изменилось, и даже запах сохранился тот же — пахло книгами,

больницей и тем крепчайшим табаком, которым Пров Яковлевич набивал себе папиросные гильзы.

— Садитесь! — сказала вдова Полунина. — Вид у вас измученный. Хотите, я кофе сварю? И давайте познакомимся — меня зовут Елена Николаевна. А вас?

— Я — Устименко.

— Без имени и отчества?

— Владимир Афанасьевич, — краснея, произнес Володя. — Только Пров Яковлевич меня никогда так не называл.

Она, улыбаясь, смотрела на него. Глаза у нее были большие, светлые и словно бы даже мерцающие, и свет этот, когда Елена Николаевна улыбалась, так красил ее бледное, большеротое лицо, что она казалась сказочной красавицей. Но стоило ей задуматься или сдвинуть к переносью тонкие брови, как делалась она не только некрасивой, но чем-то даже неприятной, жесткой и сурово-насмешливой.

«Она не одна — их две, — быстро подумал Устименко. — И влюбился он в Елену Николаевну, когда она улыбнулась, а потом уже некуда было деваться».

От этой мысли ему стало жутковато, как будто он узнал тщательно оберегаемую тайну мертвого Полунина, и Володя, обругав себя, отогнал все это прочь.

Кофе Елена Николаевна принесла тотчас же, словно он был к Володиному приходу сварен, и Устименко с наслаждением, залпом, обжигаясь, выпил большую чашку и тотчас же попросил еще.

— А ведь я знаю, зачем вы пришли нынче, — вглядываясь в Володю, сказала Елена Николаевна. — Да еще, что называется, на ходу, с рюкзаком.

— Зачем? — удивился Устименко.

— А вы признаться не хотите?

— Я, по-честному, не понимаю, — искренне и немножко даже громче, чем следовало, произнес Володя. — Я случайно, после бомбежки...

— И вы не знаете, что Пров Яковлевич про всех своих студентов кое-что записывал? Не известно вам это? И не потому вы пришли?

— Не потому! — уже воскликнул Володя. — Честное вам даю слово, ничего я этого не знаю...

— Не знаете и знать не хотите? — с быстрой и неприязненной улыбкой, ставя свою чашку на поднос, осведомилась Елена Николаевна. — Так, что ли?

— Нет, я бы знать хотел, конечно, — заставив себя держаться «в рамках», сказал Устименко, — но это все, разумеется, пустяки. У меня только к вам вот какой вопрос: неужели вся картотека Прова Яковлевича так и осталась здесь, безработной, если так можно выразиться? Неужели никто ею не интересовался? Я немножко знаю систему подбора материала Полуниным и не могу понять, как случилось, что все так на прежних местах и сохранено. Может быть, вы не пожелали это отдать в другие руки?

— В какие? — холодно спросила Елена Николаевна. — Здесь у нас одни только руки есть — профессора Жовтяка. Он интересовался, смотрел, и внимательно. Долго смотрел, «изучал» даже, как он сам выразился. И отнесся к архиву и к картотеке отрицательно. Настолько отрицательно, что, по дошедшим до меня слухам, где-то в ответственной инстанции сделал заявление в том смысле, что, зная он раньше, как проводил свои «досуги» профессор Полунин, показал бы он этому «так называемому профессору», где раки зимуют...

— Это как же?

— А так, что весь полунинский архив был профессором Жовтяком охарактеризован как собрание безобразных, безнравственных и абсолютно негативных анекдотов об истории науки, способных лишь отвлечь советское студенчество от служения человечеству...

— Ну, так ведь Жовтяк известная сволочь, — нисколько не возмущившись, сказал Володя. — Но не он же все решает. Ганичев например...

— Ганичев не например, — перебила Володю Елена Николаевна. — Какой он «например»! Он за Прова цеплялся, а потом сильно сдавать стал. Пров это предугадывал и даже в записках своих отметил. Да и болен он, слаб...

За запахнутыми окнами завывала сирена воздушной тревоги, потом на правом берегу Унчи со звоном ударили зенитки.

— Вы уезжать не собираетесь? — спросил Володя.

— Собираюсь, но только трудно это очень нынче. Почти невозможно...

И, перехватив взгляд Володи, направленный на стеллажи и ящички картотеки, те самые, которые Полунин называл «гробиками», Елена Николаевна сурово сказала:

— Это — сожгу. Здесь все кипение мыслей его, все — тупики, в которые он заходил, все муки совести...

Выражалась вдова Полунина немножко книжно, но за искренностью ее глубокого голоса Володя почти не замечал лишней красоты фраз. Потом, с тоской, она добавила:

— Лучше бы учебники составлял. Сколько предложений к нему было адресовано, сколько просьб. Все, бывало, смеялся Пров Яковлевич: «Они думают, что с нашим делом, Леля, можно управиться, как с составлением поваренной книги». Однако же учебники пишутся людьми куда менее даровитыми, нежели Пров, учебники нужны, и если бы была я вдовой автора учебников, то...

Она не договорила, смущенная неподвижным и суровым взглядом Володи. Но он почти не слышал ее слов, он думал только о том, что полунинский архив не должен погибнуть. И внезапно, со свойственной ему грубой решительностью, сказал:

— С книгами ничего не поделаешь! А картотеку мы зароем. Спрячем. Нельзя ее жечь. Что война? Ну, год, ну, два, самое большее. У вас за флигелем что-то вроде садика есть — туда и зароем.

— Я не могу копать, — резко сказала Полунина. — У меня сердце никуда не годится.

— Сам закопаю, только во что сложим?

Хозяином походив по квартире, где увязаны были уже чемоданы в эвакуацию, Устименко обнаружил цинковый бак, предназначенный для кипячения белья. Бак был огромный, многоведерный, с плотной крышкой. И два корыта цинковых он тоже отыскал — одно к одному. В палисаднике, уже в сумерках, он выбрал удобное место, поплевал на ладони и принялся рыть нечто вроде окопа. В Заречье тяжело ухали пушки, из города вниз к Унче несло горячий пепел пожарищ, в темнеющем небе с прерывистым, пугающим зудением моторов шли и шли фашистские бомбардировщики, на железнодорожном узле взорвались баки нефтехранилища — Володя все копал, ругая свое неумение, свою косорукость, свою девичью невыносимость. Наконец к ночи, к наступившей неожиданно тишине, могила для полунинской картотеки была отрыта, и две цинковые домовины — бак для

стирки и гроб из двух корыт — опущены. Тихо плача, словно и в самом деле это были похороны, стояла возле Устименки Елена Николаевна до тех пор, пока не заровнял он землю и не завалил тайник битым кирпичом, истлевшими железными листами от старой крыши и стеклом, вывалившимся из окон во время бомбежек. Теперь могила выглядела помойкой...

— Ну, все, — распрямившись, сказал Володя. — Теперь до свидания!

— Вы бы хоть поели! — не слишком настойчиво предложила Полунина.

Есть ему ужасно хотелось, да и идти в эту пору с заграничным паспортом было нелепо, но все-таки он пошел. До самой Красивой улицы, до Варваринного дома он знал проходные дворы и такие переулочки, где никакой патруль его не отыщет. И, закинув ремни рюкзака на плечо, он пошел, печально думая о том, что бы сказал Полунин, знай он, что картотека его предназначалась к сожжению, а Елена Николаевна хотела бы быть вдовой автора учебников.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.